

АЛЕКСЕЙ ГОЛУБЕВ

библиотека
журнала

ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ АНТРОПОЛОГИЯ

неприкосновенный
запас

Вещная ЖИЗНЬ

Материальность
позднего социализма



Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Алексей Голубев

**Вещная жизнь. Материальность
позднего социализма**

«НЛО»

2020

УДК 316.7(47+57)«198»
ББК 63.3(2)63-75

Голубев А. В.

Вещная жизнь. Материальность позднего социализма /
А. В. Голубев — «НЛО», 2020 — (Библиотека журнала
«Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-44-482062-9

Какую роль материальные объекты играют в общественной жизни? Насколько окружающие нас предметы влияют на конструирование коллективной и индивидуальной идентичности? Алексей Голубев в своей книге «Вещная жизнь» ищет ответы на эти вопросы в истории позднего СССР. В отличие от большинства исследователей, которые фокусируются на роли языка и идеологии в формировании советского «я», автор подчеркивает значение материальности для исторического и социального воображения, сложившегося у жителей страны в период позднего социализма. Он демонстрирует, как самые разные объекты в диапазоне от архитектурных памятников до телевизоров структурировали социальную жизнь советских людей, выстраивали их вкусы и предпочтения, определяли отношения внутри коллективов и сообществ. Такой взгляд на позднесоветскую историю не только помогает лучше ее понять, но и позволяет увидеть этот опыт как неотъемлемую часть глобальной модерности. Алексей Голубев – историк, PhD University of British Columbia, доцент Хьюстонского университета, соредактор антологии «XX век: письма войны», вышедшей в издательстве «НЛО».

УДК 316.7(47+57)«198»

ББК 63.3(2)63-75

ISBN 978-5-44-482062-9

© Голубев А. В., 2020

© НЛО, 2020

Содержание

Благодарности	6
Введение. Стихийный материализм в советской культуре и обществе	8
Определение стихийного материализма	11
Осмысление материального как социального	13
Остранение советского общества посредством вещей	16
Материальность и советское «Я»	18
Материальные координаты советского «Я»	22
Глава 1. Техноутопизм советской интеллигенции после Сталина	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Алексей Голубев

Вещная жизнь. Материальность позднего социализма

Часть

Благодарности

В этой книге отражен значительный отрезок моей научной биографии. Он начался в 2011 году в Университете Британской Колумбии, и я безмерно благодарен Энн Горсач за советы, отклик и поддержку. Я признателен и другим коллегам по факультету: Алексею Кожевникову, Биллу Френчу и Карле Наппи, – обратившим мое внимание на социальную жизнь техники, подогревшим мой интерес к визуальным, материальным и эмоциональным аспектам истории и побудившим меня задуматься о сложности взаимоотношений между миром природы, человеческим телом и системами знания. От Майкла Дэвид-Фокса из Джорджтаунского университета я получил конструктивную и последовательную критику моего проекта, которая помогла мне выявить моменты, требующие доработки. Я также благодарю Мишеля Дюшарма, Кортни Букера, Дэвида Мортонна, Игла Глассхейма, Тадео Лиму, Дениса и Катерину Кожевниковых, Дмитрия Мордвинова и Сару Башем, игравших важную роль в моей интеллектуальной и социальной жизни в период, связанный с Университетом Британской Колумбии.

Нынешний облик моя книга приобрела уже во время моей стажировки в Университете Торонто и работы в Хьюстонском университете, и я признателен коллегам из обоих городов за помощь и поддержку, которую они оказывали мне все эти годы. Русский кружок в Торонто дал мне прекрасную возможность обсудить свои исследования, и среди тех, кто откликнулся ценными для меня замечаниями, назову Линн Виолу, Элисон Смит и Симоне Аттилио Беллецу. Линн – идеальный руководитель, чьи советы помогли мне как во время стажировки, так и после ее завершения. Живая интеллектуальная среда Хьюстонского университета обогатила этот проект во многих отношениях, за что я благодарен Дэвиду Рейнбоу, Филипу Хауэрду, Абделю Раззаку Такрити, Хосе Анхелю Эрнандесу, Джихан Юксель, Игорю Александрову и Луису Оливейре.

Эта книга получилась бы совершенно иной без Сергея Ушакина. Моя центральная концепция сформировалась в ходе наших многочисленных дискуссий о советской культуре и обществе, теории аффекта, материальности, субъективности и личности, производстве знания. Его комментарии помогли мне отточить ключевые концепции и теоретическую основу работы. Его аналитический взгляд как теоретика и практика советских и постсоветских исследований, желание помочь и умение щедро делиться своими необъятными познаниями были для меня ценными уроками.

Работу над книгой, занявшую почти десять лет, существенно облегчили помощь и поддержка многих людей по обе стороны Атлантики. Я благодарю Юлию Обертрайс, Дитмара Нойтатца, Виллибальда Штайнметца и Михеля Абессера в Германии; Екатерину Емельянцева-Коллер в Швейцарии; Катриону Келли, Ольгу Смоляк и Ника Барона в Великобритании; Маркку Кангаспуру, Симо Микконена, Марию Ляхтеенмяки и Пию Койвунен в Финляндии; Ларса Элениуса и Матса-Улофа Ульссона в Швеции; Халлварда Тьелмеланда в Норвегии. Анастасия Федотова, Анатолий Пинский и Зинаида Васильева были внимательными слушателями и конструктивными критиками в Санкт-Петербурге. Книга во многом опирается на исследования истории Русского Севера, которыми я занимался ранее в Петрозаводском государствен-

ном университете, и я хочу выразить благодарность моим коллегам: Ирине Такале, Сергею Веригину, Александру Антощенко, Илье Соломешу, Дмитрию Четвертному, Евгению Камневу и Александру Толстикovu. Я особенно признателен Александру Осипову, взявшему для меня несколько интервью. В разное время я получил ценные комментарии по поводу своих теорий и отдельных фрагментов книги от Дмитрия Громова, Евгения Ефремкина, Ивонн Хауэлл, Драгана Куянджича, Элейны Лемон, Алексея Попова, Тадео Лимы, Марко Думанчича, Бенджамина Сатклиффа, Адама Франка, Брайана Уилсона и Перри Шерауза. Также я благодарен двум анонимным рецензентам и Роджеру Хэйдону из издательства *Cornell University Press* за отклики, которые помогли мне на финальном – самом важном – этапе доработки книги.

Я признателен за финансовую поддержку этого исследования. Проект получил финансирование от аспирантского отдела, факультета искусств и кафедры истории Университета Бригганской Колумбии, включая стипендию имени Маргарет А. Ормсби. Основными внешними источниками финансирования проекта во время обучения в аспирантуре были Фонд Киллама и Фонд Герды Хенкель. После защиты диссертации мой проект финансировался постдокторской стипендией имени Бантинга, предоставляемой правительством Канады.

Я смог представить разные аспекты своей концепции в форме докладов на конференциях благодаря финансовой поддержке со стороны Канадской исторической ассоциации, Европейского университета в Санкт-Петербурге, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Москве, Ноттингемского университета, Принстонского университета, Хэвигёрст-центра российских и постсоветских исследований Университета Майами, Цюрихского университета, Университета Эрлангена – Нюрнберга, Музея Уинтертур и Хьюстонского университета.

Более ранний вариант второй главы был опубликован как: *Golubev A. Time in 1:72 Scale: Plastic Historicity of Soviet Models // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2016. Vol. 17. № 1. P. 69–94.* Предварительный вариант третьей главы также печатался ранее: *Golubev A. «A Wonderful Song of Wood»: Heritage Architecture of North Russia and the Soviet Quest for Historical Authenticity // Rethinking Marxism. 2017. Vol. 29. № 1. P. 142–172.* Я выражаю признательность названным журналам и их издателям за разрешение использовать эти материалы.

Появление русского перевода оказалось возможным благодаря Татьяне Вайзер, предложившей включить его в программу своей серии «Неприкосновенный запас» вскоре после оригинальной англоязычной публикации. Отдельная глубокая благодарность – Татьяне Пирусской, переводчице этой книги. Ее упорная работа, внимательность к языковым нюансам и чувство стиля стали залогом того, что русский перевод состоялся и, как мне хотелось бы верить, найдет своего читателя.

Наконец, я хочу сказать спасибо родным. Мои родители и брат всегда поддерживали единственного гуманитария в семье инженеров-энергетиков. Мои дети Миша, Маша и Аня иногда оставляли мне немного времени для работы над книгой в перерывах между стройкой игрушечных городов, ферм и песочных замков, спорами из-за конфет и другой вредной еды, уборкой и готовкой, велосипедными прогулками, детскими площадками и гостями, походами к врачу и больницами. В заключение я благодарю свою жену Анастасию Рогову. Прежде всего из-за нее я решился променять уже сложившуюся карьеру в России на рискованную затею с докторантурой в другом полушарии, – решение, из которого в конечном счете родилась эта книга, – и именно ее поддержка помогла мне ее написать.

Введение. Стихийный материализм в советской культуре и обществе

...Стихийно, бессознательно материалистическ[ая] точк[а] зрения, на которой стоит человечество, принимая существование внешнего мира независимо от нашего сознания.

В. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм

Собирая интервью для этой книги, я просил респондентов описать один день из своей жизни, относящийся к советской эпохе. Необязательно какой-то конкретный день, говорил я. Пусть это будет обычный рабочий день, например, зимой в начале 1980-х годов. Что бы вы назвали частью своего типичного повседневного опыта в то время?

Одна респондентка рассказала, как ежедневно ездила на автобусе на работу и обратно. Она особенно хорошо помнила, что зимой и на работу, и домой приходилось ехать в темноте, и подробно объясняла, что в маленьком и старом советском ЛиАЗе было теплее, чем в более просторном новом «Икарусе». Ее рассказы о поездках на автобусе при всей их обыденности позволяли глубже понять организацию повседневной жизни в северном советском городе. Она описывала восприятие каждодневных поездок на тактильном и температурном уровне: тесноту в общественных местах, моментально коченеющие пальцы на руках и ногах, невозможность поддерживать нормальную температуру тела, когда приходится перемещаться между пронизывающим морозом на улице, относительным теплом ЛиАЗа и натопленными помещениями. В ее рассказах присутствовали и отсылки к социальной темпоральности позднего социализма – точнее, к конкретным формам, которые эта темпоральность принимала в северном городском сообществе в зимний период с его коротким днем, где временными ориентирами служили не рассвет и закат, а общественный транспорт и рабочие смены.

Другой респондент сообщил мне, что в начале 1980-х годов чрезвычайно увлекался культуризмом. Для многих культуризм едва ли ассоциируется с советской эпохой, но в действительности он существовал, правда, полуофициально, вызывая недовольство большинства государственных и спортивных чиновников. Мой собеседник провел много вечеров в тренажерном зале («качалке»), устроенном в подвале многоквартирного дома вместе с такими же энтузиастами культуризма. У еще одного респондента, на тот момент студента ПТУ, не было никакого конкретного хобби, поэтому большую часть времени он проводил, слоняясь по окрестным улицам или расположившись в подъезде какого-нибудь дома с друзьями своего возраста. Время от времени они били фонари, рисовали на стенах граффити, пили и дрались с другими подростками – все это, по его словам, исключительно от скуки. В этих рассказах раскрываются некоторые своеобразные исторические формы советской пространственности, например, освоение группами подростков общественных мест, опыт отчуждения в социалистическом городском пространстве и практики его преодоления. В них мы видим, что советское пространство конструировалось и обживалось, что оно было иерархичным и гибким, но прежде всего – неоднородным и многослойным.

Вспоминая свою повседневную жизнь в эпоху позднего социализма примерно тридцать лет спустя, мои респонденты часто описывали ее через материальные условия, причем не только в категориях потребления. Разумеется, потребление играло важную роль с его дефицитом, очередями и блатом, составлявшими значительную часть жизни большинства советских людей. И все же советская материальность не сводилась к советским товарам. Материальные предметы и пространства помогали людям ориентироваться в социалистическом городе, упорядочивали их быт, определяли отношения с родными, друзьями и соседями, формировали сообщества. В собранных мною интервью были разбросаны фрагменты советского историче-

ского опыта, показывавшие, что материальное структурировало социальное и что в центре социалистических личностных практик – коллективных и индивидуальных – зачастую стояли вещи.

Официальные советские документы не обходили вниманием это взаимодействие материального и социального. С этой точки зрения любопытно читать отчеты, докладные записки и другие документы, составленные мелкими советскими чиновниками. С одной стороны, они предельно шаблонны: одни и те же фразы о ведущей роли партии повторяются от Владивостока до Калининграда. С другой стороны, их авторам, советским бюрократам, приходилось иметь дело с живым материалом – тканью советской повседневности, – не вписывающимся в рамки официального дискурса. Их наблюдения и интерпретации относились к советским людям в непосредственном контакте с социальной и материальной средой, что часто приводило к разрывам и неточностям в клишированных в остальном официальных нарративах. Взаимодействие между людьми и вещами в языке бюрократических отчетов нередко представало как сложная система. Не только люди изображались как субъекты социально-экономических процессов, но и предметы материального мира выступали как их активные участники. Так, в отчете Министерства финансов Карельской АССР за 1963 год говорилось: «Большие убытки приносит совхозам автотранспорт, что является следствием низкого коэффициента использования, приписок и перерасхода горючего <...> Например, в совхозе „Пудожский“ <...> 1 сентября [1963 года. – А. Г.] трактор „Беларусь“ простоял без дела целый день, хотя в это время в совхозе было напряженное положение с вывозкой картофеля и подвозкой силосной массы»¹.

Официальные советские документы изобилуют подобными описаниями, как и жалобами на то, что заболоченные почвы препятствуют запланированному росту городов и расширению сельскохозяйственных угодий, что промышленные отходы, накапливаясь, угрожают здоровью людей и сохранности материальных ресурсов, что неразвитая инфраструктура мешает обучению и воспитанию советских подростков, а слабое освещение улиц создает благоприятную обстановку для преступности. Исследователи, занимающиеся советской историей, давно заметили, что желание покорить и полностью взять под контроль материальный мир – как природный, так и рукотворный, – оставалось одним из главных столпов советской идеологии и культуры с 1917 по 1991 год². Тем не менее у советских чиновников – как и у моих респондентов, – много времени уходило на попытки справиться с неожиданностями, трудностями и препятствиями, возникавшими из-за упорного сопротивления инфраструктуры, оборудования и природных явлений советскому государственному планированию. Как и мои респонденты, которые описывали свой повседневный опыт через непосредственные материальные условия, советские чиновники признавали, что материальная среда способна определять обстоятельства человеческой жизни. Пытаясь объяснить причины такого влияния, авторы официальных советских документов в этих и многих других случаях практически одушевляли вещи, изображая материальные объекты и пространства не просто как декорации или инструменты, которые человек использует по своему усмотрению, а как соучастников – иногда помогающих, но часто и сопротивляющихся – социально-экономических процессов. Для чиновников, которым приходилось разбираться со сложной экономической ситуацией в совхозе «Пудожский», было совсем не пустяком, что в тот или иной момент грузовики и трактор «Беларусь» простаивали без дела или расходовали слишком много горючего. Их коллег, осматривавших места лесозаготовок, беспокоило, что груды древесных отходов и сложенные слишком плотными штабелями бревна создавали опасность пожара³. Инспекторы, приезжавшие в общежития профтех-

¹ НАРК. Ф. Р-2359. Оп. 1. Д. 2/14. Л. 11–12.

² *Кларк К.* Москва, четвертый Рим. Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931–1941) / Пер. А. Фоменко, О. Гавриковой. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

³ НАРК. Ф. Р-690. Оп. 11. Д. 514/2393. Л. 43–44.

училищ, испытывали беспокойство при виде того, как отсутствие условий для внеклассной работы сказывалось на хулиганстве и неуспеваемости среди учеников⁴. Язык подобных отчетов предполагал наличие у материальных объектов определенного социального заряда, если уж не непосредственного влияния. Трудности, с которыми сталкивались советские чиновники, часто были обусловлены не только человеческой некомпетентностью и ленью, но и сопротивлением материального мира, не подчинявшегося партии и правительству.

Конечно, можно забраковать такие объяснения как наивные, тем более что легко выстроить причинно-следственную цепочку, в которой описанные выше ситуации предстают как результат хронических недостатков советской плановой экономики, таких как отсутствие конкуренции и мотивации. Но, на мой взгляд, не менее продуктивно рассматривать моих собеседников и советских чиновников как «ситуационных материалистов», в глазах которых подобная глобальная картина носила весьма отвлеченный характер. Их волновало другое: то, что оборудование ломается и, значит, срывает производственные планы, а промышленные отходы местных предприятий скапливаются на населенных территориях и вокруг них, создавая угрозу имуществу, здоровью и жизни местного населения. То, что поднятие тяжестей меняло форму тела, а автобусы были либо тесными, зато теплыми, либо просторными, но холодными. То, что неприрученные городские ландшафты порождали социальные отклонения или – если смотреть с противоположной точки зрения – образовывали необходимые людям пространства для совместного досуга, обмена новостями, развития и поддержания социальных связей.

Иными словами, собирая интервью и изучая исторические документы, я неслучайно то и дело наталкивался на объяснения социальных ситуаций, где фигурировали не только отдельно взятые люди и вещи, но также общности людей, материальных объектов и природных или рукотворных ландшафтов. Этот спонтанный материализм отражал реальную историческую сложность отношений между человеком и вещами в позднесоветском обществе. Попытки объяснить поведение людей через предметы материального мира и увидеть в предметах воплощение социальных отношений и конфликтов, представлений и эмоций, особое внимание к взаимодействию людей и их материальной среды не всегда обусловлены наивностью или идеологической тенденциозностью тех, кому принадлежат эти свидетельства. Пристальный интерес к вещам и пространствам может рассказать много нового об общественной жизни в эпоху позднего социализма. В то же время повседневный, спонтанный и стихийный материализм советских людей помогает нам лучше понять социальное значение материальности в целом, вне советского контекста. Внимательность к отношениям между людьми и предметами в Советском Союзе – результат определенных исторических условий, сформированных плановой экономикой, установкой на социальное государство и социалистическими дискурсами, – косвенно ставит под вопрос антропоцентристские концепции общества. Вслед за Биллом Брауном, автором «теории вещей», в этой книге я задаюсь вопросом: «Можем ли мы не отбрасывать этот материализм, а чему-то у него научиться?»⁵. По примеру советских чиновников, журналистов и рядовых граждан, этих спонтанных и стихийных материалистов, стоит, как мне кажется, осознать способность предметов и материальных пространств организовывать социальную жизнь.

⁴ НАРК. Ф. Р-3. Оп. 26. Д. 140. Л. 4.

⁵ *Brown B. Thing Theory // Critical Inquiry. 2001. Vol. 28. № 1. P. 3.*

Определение стихийного материализма

Термин «стихийный материализм» (*naturwüchsiger Materialismus*) был впервые употреблен Фридрихом Энгельсом в книге «Анти-Дюринг» (*Anti-Dühring*)⁶. Энгельс стремился прежде всего дискредитировать идеалистическую философию и ее соблазны для социалистического движения, олицетворением которых ему представлялся Евгений Дюринг, видный немецкий критик марксизма. Возводя истоки материалистической диалектики Карла Маркса к античной Греции, Энгельс утверждает: «Античная философия была первоначальным, стихийным материализмом. В качестве материализма стихийного, она не была способна выяснить отношение мышления к материи»⁷. В его черновиках сохранилось более развернутое определение античной философии как «первоначального стихийного материализма, который на первой стадии своего развития весьма естественно считает само собой разумеющимся единство в бесконечном многообразии явлений природы и ищет его в чем-то определенно-телесном, в чем-то особенном, как Фалес в воде»⁸.

Употребленное Энгельсом словосочетание *naturwüchsiger Materialismus* на русский язык традиционно переводят как «стихийный материализм». Такой перевод содержит отсылку к базовой проблеме досократической философии, пытавшейся усмотреть начало всего природного мира в одной из основных стихий (Энгельс упоминает Фалеса, называвшего первоэлементом воду). В таком виде термин «стихийный материализм» закрепился в советской истории философии на раннем этапе развития материалистического мышления⁹.

Однако советские философы упускали из виду, что их окружает другая форма стихийного материализма: укорененное в культуре сознание способности материи и вещей влиять на тело и личность человека – характерная черта советской знаковой системы, контролировавшей повседневное производство смыслов. Стихийным он был в том плане, что отсылал к обыденному опыту и сложным взаимоотношениям тел, предметов и физических пространств, действовавших на общество, но необязательно восходящих к господствующему идеологическому порядку. Стихийный материализм представлял собой совокупность спонтанных и ситуационных культурных форм, с помощью которых советские люди осмыслили этот социальный фактор. Зачастую они – говоря словами Энгельса – «не были способны выяснить отношение мышления к материи». Но, на мой взгляд, дело не в наивности, как подразумевает модель эволюции Энгельса, а скорее в реакции культуры на «внезапность, с какой вещи заявляют о своем присутствии и власти»¹⁰, и на упрямство, с каким они это делают.

Необходимо прояснить один важный вопрос – о месте стихийного материализма в идеологическом ландшафте позднего социализма. Хотя я заимствую сам термин из советской марксистской истории философии, я никоим образом не подразумеваю какой-либо устойчивой связи между советским стихийным материализмом и коммунистической идеологией. Эрнст Гомбрих заметил: «Пожалуй, из уроков, которые историк может извлечь из психологии, нет более важного, чем осознание многослойности человеческой натуры, мирного сосуществования в ней взаимоисключающих установок. Примитивной стадии, когда человеку все казалось магией, не было; никакой эволюции, которая стерла бы предшествующий этап, не происходило»¹¹. Авторы работ об идеологии – в целом и применительно к советскому кон-

⁶ Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведенной господином Евгением Дюрингом // Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч.: В 50 т. Т. 20. М.: Госполитиздат, 1961. С. 142.

⁷ Там же.

⁸ Энгельс Ф. Диалектика природы. Заметки и фрагменты // Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 502.

⁹ Анашьева М. и др. Диалектический материализм. М.: Мысль, 1989. С. 47.

¹⁰ Brown B. Thing Theory. P. 3.

¹¹ Gombrich E. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. London: Phaidon Press, 1977. P. 96.

тексту – показали, насколько всепроникающим воздействием она обладает, как легко выходит за рамки официальной доктрины, вмешиваясь в общественные отношения, повседневную жизнь и осмысление человеком своего «я»¹². Однако не все происходившее под советским небом являло собой социально обусловленный продукт официальной идеологии. В этой книге я рассматриваю ситуации, когда советские материальные предметы и пространства брали на себя функцию базовых элементов общественной жизни, и анализирую различные культурные формы, посредством которых люди эпохи позднего социализма осмыслили и проблематизировали субъектно-объектные отношения в конкретных исторических обстоятельствах. В этом плане стихийный материализм никак нельзя назвать уникальным советским феноменом, и в своем анализе материального и социального я показываю, почему советские формы самосознания органично вписывались в мировой опыт модерности и модернизации, не являясь всего лишь результатом коммунистических дискурсов, образования и пропаганды. И все же некоторые проявления стихийного материализма были характерны именно для Советского Союза, и, анализируя их, я стремлюсь описать историческое развитие позднего СССР, продемонстрировав процессы, происходившие внутри советского общества, где взаимодействие людей с материальными предметами и пространствами нередко порождало культурные смыслы и социально значимые поступки. Наконец, присмотревшись к вещам, к их способности организовывать общество и отдельные общности, человеческое тело и индивидуальность в конкретном социалистическом контексте, мы получим более полное представление об исторических изменениях в современных обществах в целом.

¹² *Butler J. Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York: Routledge, 1997; Жижек С. Возвышенный объект идеологии / Пер. В. Софронова. М.: Художественный журнал, 1999; Хархордин О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.: Изд-во ЕУ СПб., 2016; Halfin I. Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003; Хелльбек Й. Революция от первого лица. Дневники сталинской эпохи / Пер. С. Чачко. М.: Новое литературное обозрение, 2021.*

Осмысление материального как социального

В своем исследовании я опираюсь на обширный корпус критической литературы о теле и материальной культуре, написанной с позиций социальных наук. Авторы таких работ отвергли традиционную для науки склонность изображать «мир субъектов без вещей» и предложили ряд подходов к интерпретации роли материальности и материальных предметов в социальных процессах¹³. Примеры таких подходов разнообразны: от антропологических исследований Бронислава Малиновского и Игоря Копытоффа, показывающих, как вещи, одушевленные соприкосновением с социальной тканью, сами превращаются в социально активные объекты, до трудов Пьера Бурдьё и Дэниела Миллера, рассматривающих роль вещей в объективации социальных смыслов, и более поздних работ новых материалистов, называющих вещи полноправными социальными субъектами¹⁴. Для моего исследования особенно важны концепции двух ведущих фигур русского авангарда – Сергея Третьякова и Виктора Шкловского.

В 1929 году Третьяков, обращаясь к советским писателям и журналистам со страниц сборника, изданного «Левым фронтом искусств» (ЛЕФом), раскритиковал приверженность старым, дореволюционным формам письма, мешавшую, по его словам, советской литературе идти в ногу с насущными, актуальными задачами социалистических преобразований в СССР. Главной мишенью нападок Третьякова был классический роман, выстроенный вокруг жизненных перипетий главного героя, – жанр, своими корнями так глубоко уходящий в буржуазный социальный строй, что его бездумное воспроизведение в социалистической литературе замораживало и убивало преобразовательный потенциал последней:

«Построение романа на биографии героя-человека в основе своей порочно и является в настоящее время лучшим способом для контрабандного протаскивания идеализма <...> Мне это пришлось испытать на собственной практике, когда я писал биоинтервью Дэн Шихуа, биографию реального человека, прослеженного по возможности объективно <...> Несмотря на значительное введение в повествование вещей и производственных процессов, фигура героя распухает и, вместо того, чтобы этими вещами и влиянием быть обуславливаемой, начинает обуславливать их сама»¹⁵.

Третьяков отмечает, что старая литературная форма навязывала ему собственную упрощенческую логику, – он с ужасом обнаружил, что больше не контролирует собственный текст. В каком-то смысле он описывает «смерть автора», ключевую концепцию постмодернизма, согласно которой любой форме письма присущи неотделимые от нее установки, порой в корне противоречащие замыслу автора¹⁶. Однако Третьякова не интересует деконструкция или критический анализ; он хочет «по возможности объективно» понимать и изображать перемены в обществе, поэтому предлагает радикальное решение: вместо романов, излагающих биографии реальных или вымышленных лиц, советские писатели должны создавать «биографии вещей»:

¹³ Joerges B. Technology in Everyday Life: Conceptual Queries // Journal for the Theory of Social Behaviour. 1988. Vol. 18. № 2. P. 220.

¹⁴ Малиновский Б. Аргонавты западной части Тихого океана / Пер. В. Попуса. М.: РОССПЭН, 2004; Копытофф I. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process // The Social Life of Things / ed. A. Appadurai. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 64–91; Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984; Miller D. Material Culture and Mass Consumption, Social Archaeology. Oxford: Blackwell, 1987; Bennett J. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press, 2010; Coole D. H., Frost S. (eds.). New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics. Durham: Duke University Press, 2010.

¹⁵ Третьяков С. Биография вещи // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М.: Федерация, 1929. С. 70–71.

¹⁶ Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. Г. Косикова. М.: Прогресс. 1994. С. 384–391.

«Композиционная структура „биографии вещи“ представляет собой конвейер, по которому движется сырьевая единица, под человеческими усилиями превращающаяся в полезный продукт. <...>

Биография вещи имеет совершенно исключительную емкость для включения в нее человеческого материала.

Люди подходят к вещи на поперечных сечениях конвейера. <...> Индивидуально специфические моменты у людей в биографии вещи отпадают, личные горбы и эпилепсии неощутимы, но зато чрезвычайно выпуклыми становятся профессиональные заболевания данной группы и социальные неврозы»¹⁷.

Иначе говоря, важно сосредоточиться на вещи, потому что так открывается новая перспектива, благодаря которой «самый человек предстанет перед нами в новом и полноценном виде»¹⁸. Биография вещи позволяет лучше понять человеческое общество, потому что человек обусловлен вещами; игнорировать вещи – значит заниматься «контрабандным протаскиванием идеализма». Призыв Третьякова писать о материальном как о социальном переключается со знаменитой работой Копытоффа о «культурной биографии вещей», после которой биография вещи приобрела популярность у антропологов, с концепцией Бруно Латура, анализирующего циркуляцию вещей в обществе наряду с телами, текстами и идеями, и исследованиями Джудит Батлер, посвященными материальности тела. За всеми перечисленными подходами стоит понимание, что общество – нечто большее, чем сумма индивидов, институтов и организаций: материальное тоже имеет значение.

Хотя ни одну из глав этой книги нельзя назвать биографией конкретной советской вещи в том фактографическом смысле, который вкладывал в это понятие Третьяков, я обязан ему мыслью, что, описывая советские модели, памятники архитектуры или подъезды многоэтажных домов, можно плодотворно изучать социальную и культурную историю. Акцент на советских вещах помогает уйти от соблазнительного и зачастую искусственного упрощения исторического материала, к которому порой подталкивают даже самые продуктивные из основных категорий политического и социального анализа, такие как социализм, нация, потребление, гражданство и другие. Так, история подъездов и подвалов советских жилых домов, о которых речь пойдет в четвертой и пятой главах, позволяет лучше понять связь некоторых социальных барьеров и конфликтов с городским ландшафтом на закате социализма. Помимо более абстрактных социальных факторов социального расслоения: уровня дохода, образования, истории семьи, – такие конфликты имели под собой вполне конкретную материальную почву. От мужчины или женщины эпохи позднего социализма порой требовалось не только придерживаться определенных телесных ритуалов и дискурсивных практик, но и посещать – или демонстративно избегать – ряд мест, набор которых заметно отличался в разных социальных группах¹⁹. Если в недавних работах по социальной и культурной истории постсталинского общества, включая книги Дональда Рейли о «советских бэйби-бумерах», Алексея Юрчака о «последнем советском поколении» и Владислава Зубка о «детях Живаго», акцент сделан на различиях между советскими поколениями, то биографии вещей выявляют глубокие классовые противоречия внутри этих поколений²⁰. Еще пример: историю масштабного моделирования в СССР (глава вторая) можно рассматривать как историю отдельно взятого хобби, но в то же время она показывает, какую роль коллекции масштабных моделей играли в формировании

¹⁷ Третьяков С. Биография вещи. С. 70–71.

¹⁸ Третьяков С. Биография вещи. С. 70–71.

¹⁹ Такая форма культурного осмысления гендера рассмотрена в работе: Ушакин С. «Человек рода он»: Знаки отсутствия // Ушакин С. (ред.). О муже(N)ственности. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 21–23.

²⁰ Рейли Д. Советские бэйби-бумеры. Послевоенное поколение рассказывает о себе и о своей стране. М.: Новое литературное обозрение, 2015; Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014; Zubok V. Zhivago's Children: The Last Russian Intelligentsia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.

советского и постсоветского исторического воображения. Проследивая социальные траектории вещей, мы присматриваемся к нюансам и деталям в масштабной картине экономических, социальных и политических изменений. Однако при изучении истории – науки, как заметил Карло Гинзбург, «уликовой» – именно детали, какими бы банальными и незначительными они ни казались, «позволяют проникнуть в иную, глубинную реальность, недостижимую другими способами»²¹.

²¹ Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история: Сб. ст. / Пер. С. Козлова. М.: Новое издательство, 2004. С. 196.

Остранение советского общества посредством вещей

Для Сергея Третьякова и еще некоторых представителей советского авангарда, в частности режиссера-документалиста Дзиги Вертова, из интереса к материальной стороне социальной жизни вытекало стремление максимально устранить авторское присутствие в собственных произведениях. Но не все были с ними согласны. Так, Виктор Шкловский, еще одна ключевая для этого поколения фигура, скептически относился к мысли, что фактографическое письмо Третьякова или фильмы Вертова, смонтированные из кадров советской повседневности, способны дать «по возможности объективную» картину. Разделяя взгляды своих товарищей-авангардистов на значимость вещей и материи в организации социальной жизни, Шкловский критиковал используемые ими методы изображения, поскольку они упускали из виду тот факт, что средство коммуникации – будь то письменное слово (Третьяков) или кинематограф (Вертов) – не нейтрально по отношению к сообщению²². «Я хочу знать номер паровоза, который лежит на боку в картине Вертова», – писал Шкловский в одной из своих работ, на примере появляющегося в кадре поезда показывая, что художественная условность присутствует в любом изображении, пусть даже оно претендует на абсолютную объективность²³.

Сознавая, что «средство коммуникации и есть сообщение», Шкловский стремился превратить условность из помехи в достоинство, использовать вещи во всей сложности их социальной жизни для организации повествования – как литературный прием или технику письма²⁴. Наиболее заметный след в литературоведении оставило понятие остранения, предложенное Шкловским в одной из ранних работ, статье «Искусство как прием» (1917). Остранение – прием, построенный на том, что автор изображает привычный предмет или обыденную ситуацию как нечто незнакомое – в противовес общепринятому взгляду на них. На примере текстов Льва Толстого Шкловский демонстрирует, как этот прием позволяет посмотреть на мир более зорким, свежим взглядом: «Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны <...> И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание»²⁵.

То, что Шкловский пишет об искусстве, применимо и к социальному анализу. Например, в 1989 году во многих советских семьях смотрели телепередачи советских экстрасенсов Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, заявлявших, что они обладают способностью на расстоянии исцелять своих телезрителей. Пытаясь объяснить этот феномен, многие авторы с презрением говорят о мракобесии и глупости советских телезрителей. Но что, если посмотреть на эти телесеансы как на ритуалы, происходившие в домашней обстановке и предполагавшие взаимодействие материальных предметов (в данном случае телевизора), человеческих тел и альтернативных форм знания (веры в непознанное)? Такая попытка остранения дает более сложную картину, чем тривиальные интерпретации этих сеансов как «зомбирования» советских телезрителей, и побуждает задаться вопросом, в какой мере советское телевидение пользовалось у публики авторитетом, несводимым к директивам коммунистической партии и правительства (шестая глава). Смотря на советские вещи «как в первый раз», мы можем сопротивляться «автоматизации» исторического знания и ставить под сомнение избитые аксиомы,

²² О спорах советских авангардистов вокруг отношений между вещами и способами изображения см.: Ушакин С. «Не взлетевшие самолеты мечты»: О поколении формального метода // Формальный метод: Антология русского модернизма. М.: Кабинетный ученый, 2016. Т. 1. С. 9–20.

²³ Шкловский В. Куда шагает Дзига Вертов? // Формальный метод. С. 247.

²⁴ Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2007. Сергей Ушакин проводит эту параллель: Ушакин С. «Не взлетевшие самолеты мечты». С. 38.

²⁵ Шкловский В. О теории прозы. М.: Круг, 1925. С. 7–20. URL.: <http://www.opojaz.ru/manifests/kakpriem.html>.

которыми часто прикрывается тенденциозное знание, как я покажу в четвертой главе, посвященной советским подъездам и их обитателям. Не исключено, что в результате мы придем к переоценке процесса исторических изменений в позднем СССР.

Специфика работы с историческими источниками заключается в том, что авторы часто опускают подробности, с их точки зрения несущественные. Номера многих паровозов, о которых пойдет речь в книге, неизвестны. Но Третьяков и Шкловский помогли мне осознать еще одну важную мысль: интерес к вещам не должен быть самоцелью. Цель этого интереса – сделать так, чтобы люди «предстали перед нами в новом и полноценном виде»²⁶. В данном исследовании анализ вещей эпохи позднего социализма – метод и прием, позволяющий лучше понять советских людей: их личность, общественную жизнь, отношения с государством.

²⁶ Третьяков С. Биография вещи. С. 62.

Материальность и советское «Я»

С начала 2000-х годов материальность, открывающая возможность новых эпистемологий, онтологий и новой политической проблематики, стала играть все более важную роль в научных исследованиях. В среде историков материальный поворот бросил вызов антропоцентристским взглядам на исторические процессы и заставил задуматься о новых модусах интерпретации, с позиций которых вещи и материя предстают не как пассивные объекты человеческой воли, а способны стимулировать исторические изменения. Историки науки и техники с готовностью признали ключевую роль предметов в научном и техническом развитии; вскоре с аналогичными тезисами выступили специалисты по социальной и культурной истории, рассматривая людей и материальные объекты как соучастников исторического процесса²⁷.

Отклик на этот материальный поворот в изучении советской истории был неоднородным. Если работы о раннесоветской эпохе дали толчок исследованиям материальности других регионов и периодов, то изучение материальности социокультурных изменений в позднем СССР оказалось более ограниченным²⁸. Работы о потреблении и жилье в постсталинский период расширили наши представления о его материальном мире²⁹. В то же время их авторы сосредоточились в первую очередь на потреблении и жилье в Советском Союзе как государственных проектах, в которые вкладывался соревновательный и назидательный смысл: потребление считалось мерилем социалистического прогресса, жилищные условия – просвещения, и наоборот. Исследователи подчеркивают, что потребление и обеспечение жильем в СССР были рассчитаны в том числе на международную аудиторию, и помещают их в контекст холодной войны. Излюбленный сюжет таких работ – так называемые кухонные дебаты 1959 года, состоявшиеся на открытии Американской национальной выставки в Москве между вице-президентом США Ричардом Никсоном и главой советского правительства Никитой Хрущевым, поспорившими, что считать показателем прогресса – товары широкого потребления или ядерные технологии.

Таким образом, работы, посвященные материальности в позднем СССР, органично вписываются в гораздо более обширное и традиционное поле научных исследований – анализ официальной советской политики. Об этом свидетельствуют и сами названия работ о потреблении и жилищных условиях в СССР, где, как правило, фигурирует имя советского вождя, с которым связан рассматриваемый период. В целом благодаря таким исследованиям сформировалось одно из самых динамично развивающихся направлений в изучении истории постсталинской эпохи – осмысление социализма как варианта модерности. Сосредоточившись на конкретных проявлениях социалистической модерности в материальных объектах и олицетво-

²⁷ Latour B., Woolgar S. *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts*. Princeton University Press, 1986; Norton Wise M. *Mediating Machines // Science in Context*. 1988. № 2. С. 77–113; Auslander L. et al. *AHR Conversation: Historians and the Study of Material Culture // American Historical Review*. 2009. Vol. 114. № 5. P. 1355–1404.

²⁸ Buchli V. *An Archaeology of Socialism*. Oxford: Berg, 2000; Kiaer C. *Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism*. Cambridge: MIT Press, 2008; Widdis E. *Faktura: Depth and Surface in Early Soviet Set Design // Studies in Russian and Soviet Cinema*. 2009. Vol. 3. № 1. P. 5–32; Schechter B. *The Stuff of Soldiers: A History of the Red Army in World War II through Objects*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019.

²⁹ О потреблении см.: Reid S. E. *Cold War in the Kitchen: Gender and the De-Stalinization of Consumer Taste in the Soviet Union under Khrushchev // Slavic Review*. 2002. Vol. 61. № 2. P. 211–252; Reid S. E. *Khrushchev Modern: Agency and Modernization in the Soviet Home // Cahiers du monde russe*. 2006. Vol. 47. № 1/2. P. 227–268; Reid S. E. *Who Will Beat Whom? Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in Moscow, 1959 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2008. Vol. 9. № 4. P. 855–904; Siegelbaum L. H. *Cars for Comrades: The Life of the Soviet Automobile*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008; Chernyshova N. *Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era*. London: Routledge, 2013. О жилищных условиях см.: Attwood L. *Gender and Housing in Soviet Russia: Private Life in a Public Space*. Manchester: Manchester University Press, 2010; Smith M. B. *Property of Communists: The Urban Housing Program from Stalin to Khrushchev*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010; Harris S. E. *Communism on Tomorrow Street: Mass Housing and Everyday Life after Stalin*. Washington, DC: Johns Hopkins University Press, 2013; Varga-Harris C. *Stories of House and Home: Soviet Apartment Life during the Khrushchev Years*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015.

ривших ее дух субъектах, исследователи советской материальной культуры внесли огромный вклад в наши представления о государственной политике в позднесоциалистических обществах. Однако у этого явления есть и оборотная сторона: в работах о потреблении и жилищных условиях в Советском Союзе обнаруживается лишь косвенный интерес к советским вещам и пространствам как самоценным и активным социальным сущностям. Предметы и пространства предстают как средство, к которому советская власть прибегала, чтобы воспитать современных, дисциплинированных и культурных граждан, а граждане – чтобы утвердить свое понимание социализма³⁰. Однако это средство само по себе несло сообщение, зачастую далекое от смысла, который хотела донести до граждан советская власть.

Анализ стихийного материализма в позднем СССР, притом с его же позиций, дает возможность уловить и описать социальную власть вещей, особенно в их взаимодействии с телом и сознанием советского человека. В моей работе существенную роль играет репрезентационный аспект советской материальной культуры (то, как через нее проявлялась советская модерность). Но эта книга задумана и как вклад в другую важную область изучения советской истории – исследования советской субъективности и личности. Под субъективностью я понимаю идеологическое конструирование индивидуальности, иными словами, субъекта как результат воздействия властных структур. Под личностью – психологически и культурно обусловленную неспособность человека осознать собственную телесную, эмоциональную и дискурсивную неоднородность и фрагментарность, которые он не может узнать за обманчивой целостностью своего «я»³¹. С момента выхода книги Стивена Коткина «Магнитая гора» (*Magnetic Mountain*) многие ученые задавались вопросом, как советская власть навязывала гражданам свои представления о советском субъекте и как советские люди усваивали или подвергали сомнению господствующие парадигмы личности, вырабатывая альтернативные способы создания собственного «я»³². Исторические исследования, посвященные субъективности и личности, – одна из тех областей, в которых историография СССР находится в авангарде истории как научной дисциплины. Авторы таких исследований исходят из общей постмодернистской концепции децентрализованного и фрагментарного субъекта, признают, что любая историческая модель личности неустойчива, поэтому ее поддержание всегда требует усилий, например письма или ритуалов, и рассматривают субъективацию как форму и следствие власти.

Хотя у каждого исследователя, анализирующего советское «я» и субъективность, свои методы, приемы и материал, общей для этого направления тенденцией можно назвать логоцентризм³³. Если говорить о постсталинском периоде, яркий пример – известная работа Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение» (*Everything Was Forever until It Was No More: The Last Soviet Generation*). Опираясь на концепции Джона Остина и Джудит Батлер, Юрчак рисует дискурсивный портрет личности позднесоциалистической эпохи, воспроизводящей себя за счет повторения определенных речевых актов. Его главный тезис состоит в том, что люди эпохи позднего социализма сочетали блестящее владение авторитетным советским языком с ловким использованием оборотов и лакунов официальной

³⁰ См. в первую очередь образцовую работу Натальи Чернышевой о потреблении в позднесоветскую эпоху: *Chernyshova N. Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era*.

³¹ Такой подход основан на: *Лакан Ж. Семинары. Кн. 11: Четыре основные понятия психоанализа* (1964). М.: Гнозис/Логос, 2004; *Альтоссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для исследования)* // *Неприкосновенный запас*. 2011. № 3 (77); *Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы* / Пер. В. Наумова. М.: Ad Marginem, 1999.

³² *Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley: University of California Press, 1995; *Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia*; *Хелльбек Й. Революция от первого лица*; *Halfin I. Terror in My Soul*; *Halfin I. Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik Self*. Seattle: University of Washington Press, 2011; *Юрчак А. Это было навсегда*; *Kaganovsky L. How the Soviet Man Was Unmade: Cultural Fantasy and Male Subjectivity Under Stalin*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2008; *Pinsky A. The Diaristic Form and Subjectivity under Khrushchev* // *Slavic Review*. 2014. Vol. 73. № 4. P. 805–827; *Widdis E. Socialist Senses: Film, Feeling, and the Soviet Subject, 1917–1940*. Bloomington: Indiana University Press, 2017.

³³ Два важных исключения – работы Эммы Уиддис и Лили Кагановской, но обе посвящены сталинской эпохе.

речи для выражения новых смыслов. Именно этой комбинацией, полагает Юрчак, определяется историческая специфика «последнего советского поколения»³⁴.

В этой книге я также рассматриваю личность как фрагментарный, неустойчивый, перформативный феномен, а роль языка (как структуры) и речи (как перформативных актов) в конструировании советского субъекта занимает важное место в моей аргументации. Говоря о стихийном материализме как присутствующем в культуре осознании власти вещей, я обращаюсь к культурной логике позднего социализма, проявившейся в его дискурсе. Но здесь же я расхожусь с авторами большинства работ о советской субъективности и личности. Я воспринимаю социальный и культурный ландшафт позднего социализма как поле, в котором действовали многочисленные и разнородные силы, формировавшие советское «я». Говорить об «одном поколении» применительно к советскому или любому другому контексту – значит экстраполировать исторический опыт одной конкретной социальной группы на все общество за счет других групп. Несхожие культурные языки (или, если воспользоваться термином Мишеля Фуко, дискурсивные формации), идеологии, социальные отношения, не совпадавшие в разных сообществах, и материальная среда отсылают к разным моделям и практикам формирования личности. «Я» человека обусловлено не только языковыми, но и материальными факторами. Участие Шкловского, командовавшего броневым автомобильным дивизионом, в Февральской революции заставило его особенно остро осознать этот факт:

«Больше всего меняет человека машина <...>

Подземная железная дорога, подъемные краны и автомобили – протезы человечества <...>

Мотор свыше сорока лошадиных сил уже уничтожает старую мораль <...>

Не забудем о заслугах автомобиля перед революцией <...>

Вы пеной выплеснули революцию в город, о автомобилях»³⁵.

Шкловский одним из первых понял, что за ходом исторического развития скрывается взаимодействие людей и материальных объектов. Он же заметил, что посредником между ними обычно оказывается аффект. По мнению Шкловского – и я в книге продолжаю его мысль – вещи сами по себе не способны действовать, но, вызывая в людях эмоциональный отклик, они выходят на историческую арену и стимулируют исторические изменения, «уничтожая старую мораль», «служа революции» и многими другими способами. Поэтому аффект – важное для моей книги понятие, ведь изученный мной эмпирический материал содержит множество свидетельств, показывающих, что различные аффекты в значительной степени определяли, как советские люди осмыслили себя и мир вокруг. Отталкиваясь от этих находок, я отвергаю описание советской личности как набора неизменно присущих советскому человеку качеств или как феномена, обусловленного исключительно языком. Необходимо принимать во внимание и повторяющиеся, воспроизводимые в культуре, обладающие своей материальной спецификой ситуации, в которых люди эпохи позднего социализма обретали социальное бытие как советские личности.

Материальный мир позднего социализма порой упорно не поддавался попыткам властей провести его рациональное преобразование; чиновники и интеллигенты испытывали настоящий страх перед скоплениями советских тел и материальных объектов, проявлявших неожиданную и потенциально опасную способность воздействовать на общество. Однако советская материальность не могла предоставить пространства, совершенно обособленного от властных структур. Например, в пятой главе я пишу о том, как советским культуристам, вытесненным из официального спорта, приходилось ютиться в подвалах многоэтажных домов, где они тренировались полулегально, подвергаясь непрерывной критике со стороны советской прессы. Но в конце 1980-х годов некоторые из них вышли из своих подвальных «качалок», чтобы принять

³⁴ Юрчак А. Это было навсегда. С. 71–89.

³⁵ Шкловский В. Зоо, или Письма не о любви // Шкловский В. Жили-были. М.: Советский писатель, 1964. С. 130–131.

участие в международных соревнованиях по бодибилдингу в составе «сборной СССР», другие же пытались образумить – при необходимости силой – панков, хиппи, металлистов и другую молодежь, демонстративно выбиравшую западный, несоветский стиль одежды и поведения. Маргинальное положение, занимаемое советскими культуристами в социальном пространстве, не означало их социальной маргинальности. Наоборот, советский подвальный спортзал оказался способен воспитать граждан, сохранявших лояльность режиму даже в ситуациях, когда власть ошибочно воспринимала эту лояльность как угрозу и противостояла ей силами чиновников, контролировавших институт советского спорта.

Один из важнейших вопросов, на которые я стремлюсь ответить в своей работе: в чем причина такой живучести советских смыслов вопреки политическим и культурным изменениям, сопряженным с распадом СССР в 1991 году? Или, если сформулировать иначе: почему постсоветские социальные и культурные структуры так часто схожи со своими советскими предшественниками? Если экономические и социально-политические перемены, спровоцированные перестройкой, либерализация общества, а затем и распад Советского Союза были столь радикальными, почему же современное российское общество 2000-х и 2010-х годов воспроизводит культурные и политические модели, унаследованные от советского прошлого?

Возможно, этот вопрос следует коренным образом перефразировать. Не исключено, что именно кризис привычных форм описания постсоветских обществ заставляет участников и наблюдателей недавних политических изменений в России интерпретировать их как возрождение позднесоветской системы. В конце концов, своим знаменитым афоризмом из «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта»: «Все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды <...> первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса»³⁶, – Маркс подводит итог анализу, показывающему, что со времен правления Наполеона Бонапарта до прихода к власти его племянника неизменными остались вовсе не социально-экономические структуры – они как раз изменились. Но политические и культурные модели отставали от них, образуя систему понятий, позволившую Наполеону III склонить мнение французского общества в свою пользу. Может быть, устойчивость советских смыслов тоже не свойство, неизменно присущее современным постсоветским государствам и обществам, а политический артефакт, относящийся в том числе к политике знания и репрезентаций? Попытка осмыслить эту проблему с позиций советского стихийного материализма и его средствами, вероятно, поможет найти ответ на последний вопрос, к которому я обращаюсь в заключительном разделе каждой главы.

³⁶ Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. Т. 8. М.: Госполитиздат, 1957. С. 119.

Материальные координаты советского «Я»

Анализируя прочную, но неуловимую связь между советской материальностью и личностью, я прослеживаю, как вещи поздесоциалистической эпохи по-разному воплощали и отражали несхожие и часто противоречащие друг другу социальные видения и модели времени и пространства в последние три десятилетия существования Советского Союза. Как следствие, в этой книге рассматриваются материальные объекты, побуждавшие советских людей в специфически позднесоветских контекстах занимать разные позиции по отношению к историческому процессу и социальному пространству. Иначе говоря, меня интересуют объекты, помогавшие советским людям осмыслять историческое время и социальный ландшафт позднего социализма.

Таким подходом продиктованы структура и композиция книги. В первых трех главах речь идет о связи между материальными объектами и разными модусами темпоральности постсталинского советского общества. В первой главе я рассматриваю производственный язык позднего социализма как дискурсивную систему, вдохновлявшую и порождавшую советский стихийный материализм и одновременно вдохновляемую или воспроизводимую им. Производственный язык изображал картину грандиозного советского будущего, построенного с помощью передовых технологий, и тем самым стремился содействовать рациональной организации общества на основе промышленного производства и научного прогресса. Он присваивал образы советских фабрик, машин, транспорта и космических ракет, помещал их в замкнутое пространство визуальных и текстовых репрезентаций и использовал для того, чтобы изобразить СССР – в рамках советской символической системы – как передовое в техническом отношении государство. Технологии и технические объекты в смысловой системе этого дискурса обеспечивали советскому обществу контроль над настоящим и будущим, равно как и превосходство СССР в состязании со странами западного блока. Мощь и преобразующая сила, приписываемые советской технике, придавали ей эмоциональную ценность в глазах советского общества, поэтому она выступала как предмет специфических для советского техноутопизма дискурсивных практик, направленных на трансформацию советского материального мира, но в действительности работавших как формы субъективации советских людей. Помимо аффекта и его политики, в первой главе я ввожу еще несколько ключевых тем, рассматриваемых в следующих главах, включая идею о формировании собственного «я» посредством создания вещей, в которой советские педагоги и идеологи видели путь к развитию творческих способностей, а также тему перформативности объектов.

Вторая глава посвящена масштабному моделированию в СССР, прежде всего моделям как объектам, воплощавшим историческое воображение, присущее советской технополитике. Модели, особенно их коллекции, сопротивлялись марксистским трактовкам истории и помогали утвердить советское историческое воображение на национальном фундаменте. Масштабные модели, подобно своим прототипам, обладали аффективным зарядом, но иного рода: они демонстрировали индустриальную и техническую мощь Советского Союза и в то же время расценивались как синекдоха исторического прогресса. Миниатюризация истории в ее техноцентрическом и национальном аспектах делала модели перформативными: они разыгрывали историю как спектакль для образованного зрителя – советского моделиста, превращая исторический процесс в маскулинную фантазию. В этой главе я также затрагиваю темы публичного пространства, перформативности и визуальности.

В третьей главе я обращаюсь к другому типу материальных объектов, способных разыгрывать историю: объектам деревянного зодчества и реконструкциям кораблей прошлых эпох. В последние три десятилетия существования Советского Союза число мест, связанных с традиционной деревянной архитектурой, резко возросло. Музеефикацию древней архитектуры

я в этой главе рассматриваю как процесс, аналогичный по своему политическому подтексту созданию и коллекционированию масштабных моделей, но подталкивающий к националистическому видению советской истории уже не в техноутопической, а романтической интерпретации. В частности, я показываю, как дерево – традиционный строительный материал – стало символическим олицетворением «богатого культурного прошлого» советского общества и благодаря своей фактуре служило живым свидетельством его «подлинной» истории.

Во второй части книги я перехожу от временных координат советского «я» к пространственным. Акцент смещается с образованной части советского общества и форм досуга, требующих специальных навыков и разворачивающихся в публичном пространстве на глазах у многих людей, к маргинальным социальным группам, пытавшимся с помощью вещей и пространств позднего социализма примириться с отчуждением и историческими изменениями. В четвертой главе я рассматриваю программу массового обеспечения населения жильем, инициированную советским правительством в конце 1950-х годов, с точки зрения планировки и организации городского пространства. Меня интересуют переходные пространства новых социалистических районов, в первую очередь подъезды советских многоэтажных домов. Хотя задумывались они как утилитарные пространства, предназначенные для того, чтобы люди быстро проходили через них по дороге из дома на работу и с работы на отдых, подъезды оказались удобным местом для неформальных компаний и установления разного рода контактов, в чем советская власть и интеллигенция зачастую усматривали угрозу общественному благу. Советский подъезд формировал другие аффективные режимы взаимодействия советских людей с городской средой и провоцировал некоторые скрытые конфликты эпохи позднего социализма, нашедшие отражение в господствующих в обществе структурах советского «я».

Сообщества, о которых я говорю в четвертой главе, состояли в основном из мужчин. Материальные и социальные условия позднего социализма стимулировали возникновение разных модусов и форм маскулинности, и это еще одна важная для данной работы тема. В первых трех главах я рассматриваю формы маскулинности, в большей степени присущие образованным представителям советского общества, а во второй части обращаюсь к мужской гомосоциальности в более маргинальных кругах. Пятая глава продолжает анализ маргинальных городских пространств эпохи позднего социализма, но под несколько иным углом, так как в ней я исследую специфический феномен «подвального» культуризма в позднем СССР. Привлеченные транснациональными образами натренированного мужского тела с рельефной мускулатурой, многие советские подростки и взрослые мужчины начали тренироваться, используя спортивное оборудование для поднятия тяжестей, с помощью которого они стремились нарастить мышечную массу и придать своему телу нужную форму. При этом советский культуризм не смог вписаться в систему официального спорта, что привело к его маргинализации, сказавшейся на его социальной топографии. Советская пресса неоднократно осуждала «подвальный» культуризм как опасный и даже криминальный феномен. Однако многие, кто им занимался, видели в культуризме способ укрепить здоровье, уверенность в себе, приобрести силу, а вместе с ней и возможность воздействовать на общество, которую они часто воспринимали как демонстрацию лояльности господствующему символическому и политическому порядку.

Наконец, в шестой главе я рассматриваю то, как телевизор – материальный объект – менял пространство советского дома и личность советского человека. Эта глава подытоживает большинство рассматриваемых в книге тем. Я анализирую социальный конфликт между образованными и маргинальными представителями советского общества, выразившийся в публичных спорах о целительном или, наоборот, вредоносном воздействии телевизора. Я намеренно останавливаюсь не только на содержании телевизионных программ, но и на материальной форме самого телевизора, утверждая, что его появление в советском домашнем пространстве породило новые формы проявления идентичности, которые не сводились к содержанию телепередач, а скорее восходили к физической природе телевизора как средства массовой комму-

никации. На примере такого явления, как передачи экстрасенсов на советском телевидении в 1989 году, я в этой главе прослеживаю, как советские телезрители открывали для себя способность телевизора воздействовать на их тело и сознание, и рассматриваю разные социальные реакции на это открытие в позднесоветской культуре.

Работая над книгой, я использовал множество опубликованных и неопубликованных материалов. Чтобы включить в анализ как центральные регионы, так и периферию, я изучал документы, хранящиеся в Национальном архиве Республики Карелия (НАРК) и в музее-заповеднике «Кижы» в Петрозаводске, в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб) и Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Из-за широкого охвата моего исследования я не ограничивался каким-то конкретным собранием документов, а изучал материалы разных официальных советских организаций, включая местные и региональные партийные ячейки и комитеты, общественные организации, в том числе жилищные комитеты, и группы по интересам, собиравшиеся во дворцах пионеров. Кроме того, материалом для исследования послужили и многочисленные интервью; хотя в тексте я использовал лишь некоторые из них, я почерпнул из таких бесед немало полезных сведений об исторической обстановке в целом и бесчисленное множество деталей, касающихся советской повседневности в эпоху позднего социализма. В числе других неопубликованных источников переписка по электронной почте с людьми, участвовавшими в практиках, которые я рассматриваю в книге.

Еще один важный для моей работы источник – советские периодические издания. Так как меня интересовала материальная сторона жизни в СССР, мое внимание привлекли прежде всего любительские журналы о науке и технике, такие как «Техника – молодежи», «Моделист-конструктор», «Наука и жизнь». Публикации в них создавались усилиями не только редакторов, но и широкой публики, так как читатели принимали участие в подготовке значительной части материалов. Кроме того, я опирался на многие книги, напечатанные центральными и региональными советскими издательствами. В послевоенный период Советский Союз был покрыт обширной издательской сетью, работа которой в теории находилась под пристальным партийным контролем. Однако на практике огромный размах этой сети приводил к структурному разрыву между официальным – стратегическим – указанием работать во благо социализма и локальными – тактическими – планами редакторов, руководителей и авторов многочисленных советских издательств, вовлеченных в свои споры и дискуссии. Именно так в СССР выходили книги о культуризме, романтическом национализме и сверхъестественных явлениях. Эти тексты, которые я рассматривал с антропологической точки зрения, как ключи к советской знаковой системе, помогли мне понять исторические формы взаимодействия советского общества с материальным миром.

Главное преимущество, которое мы получаем, прослеживая движение советских вещей в социальном пространстве, их взаимоотношения с людьми и репрезентацию в текстах и изображениях, – возможность наблюдать общество в его спонтанных проявлениях. Некоторые из этих проявлений обусловлены господствующими идеологическими нарративами, другие отражают мировой опыт модерности и модернизации, в третьих же воплощена – говоря словами В. Ленина – «стихийно, бессознательно материалистическая точка зрения», усвоенная советскими людьми, пытавшимися справиться с непредсказуемой и сопротивляющейся, но в то же время гибкой и покладистой материей, которая их окружала. Анализируя взаимодействие советского человека с вещами, я в этой книге показываю, как материальный мир позднесоветского периода обуславливал и определял повседневный выбор, социальные траектории, фантазии и устремления живших в этот период людей.

Глава 1. Техноутопизм советской интеллигенции после Сталина

Наш путь – от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку. Вскрывая души машины, влюбляя рабочего в станок, влюбляя крестьянина в трактор, машиниста в паровоз, – мы вносим творческую радость в каждый механический труд, мы родим людей с машинами, мы воспитываем новых людей.

Дзига Вертов. МЫ. Вариант манифеста³⁷

Эмигрировавший из СССР историк и философ Михаил Геллер озаглавил написанную им в 1985 году «историю формирования советского человека» «Машина и винтики»³⁸. Аналогия с механизмом отвечала главному тезису Геллера, полагавшего, что ход советской истории определялся «невиданно интенсивной, концентрированной, планомерной атакой тоталитарного советского государства» на человека, которого оно стремилось «превратить в винтик»³⁹. По мысли Геллера, все советские вожди, от Владимира Ленина до Константина Черненко, стоявшего во главе государства, когда Геллер писал «Машину и винтики», намеренно содействовали этому производственному процессу. Именно с такой точки зрения Геллер изображает «формирование советского человека» как от начала до конца обдуманый проект, последовательно внедряемый с первых дней советской власти. В одном месте он называет коммунистическое правительство «созидателем», а советские государственные институты – его «инструментами», внося демиургические коннотации в свою интерпретацию истории⁴⁰

³⁷ Формальный метод: Антология русского модернизма. Т. 2: Материалы / Под ред. С. Ушакина. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016. С. 25–26.

³⁸ Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. Лондон: Overseas Publications Interchange LTD, 1985.

³⁹ Там же. С. 296.

⁴⁰ Там же. С. 101. Главу о советском языке Геллер предваряет первой фразой из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово» (Ин. 1:1). Этот эпиграф в сочетании с утверждением автора, что советские вожди, в особенности Владимир Ленин, творили новый советский язык, усиливает демиургические коннотации.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.